

Александр Блок

О репертуаре коммунальных и государственных театров



Александр Александрович Блок

О репертуаре коммунальных и государственных театров

«В Народном Доме, ставшем театром Петербургской Коммуны, за лето не изменилось ничего, сравнительно с прошлым годом. Так же чувствуется, что та разноликая масса публики, среди которой есть, несомненно, не только мелкая буржуазия, но и настоящие пролетарии, считает это место своим и привыкла наводить просторное помещение и сад; сцена Народного Дома удовлетворяет вкусам большинства...»

Содержание

Александр Александрович Блок О репертуаре коммунальных и государственных театров	.0004
1.....	0005
2.....	0013
#4.....	0020

**Александр Александрович
Блок**

**О репертуаре коммунальных
и государственных театров**

В Народном Доме, ставшем театром Петербургской Коммуны, за лето не изменилось ничего, сравнительно с прошлым годом. Так же чувствуется, что та разноликая масса публики, среди которой есть, несомненно, не только мелкая буржуазия, но и настоящие пролетарии, считает это место своим и привыкла наводнять просторное помещение и сад; сцена Народного Дома удовлетворяет вкусам большинства.

Второй акт «Второй молодости» Невежина. Зал почти полный. Слушают внимательно. С актерами есть связь. Актеры знают, что нравятся залу. Крик под занавес вызывает восторг. Актеров несколько раз вызывают.

Нравится не только мелодраматический оттенок пьесы, который есть у автора и подчеркивается актерами, но и психологические черточки, условности, разнообразие душевных движений, ношение платьев, повадка, все те неисчислимы мелочи, которые актеры, плохо ли, хорошо ли, тоже подчеркивают.

Например, в актере, играющем брата же-

ны, явно нравится то, что у него – неуклюжая русская походка, седоватый небрежный клочок волос, грубый голос, квадратные плечи у сюртука; ему иногда по пьесе и не надо быть таким отрывистым и грубым, невежинские тона мягче, но он – груб, и это – ничего. В кокетке нравится то, что она влетает на сцену как бомба, быстро и крикливо треплет языком, сопровождая все это бурными движениями, которые вообще полагаются кокетливым барыням; но это нравится не так, как свойства предыдущего актера; он гораздо опытнее, а она – чуть-чуть не рассчитала и переиграла; это сразу отзывается на зрительном зале: очевидно, чувствует и она, потому что незаметно умеряет свой пыл; и зал сейчас же понимает это. – В молодом человеке, играющем сына, зал, напротив, особенно ценит неумеренность; пока он ходит полу порывисто и озабоченно, на него мало обращают внимания; но стоило ему (когда он по пьесе замыслил убить отца) швырнуться в ту и в другую дверь, так что каблуки засверкали, и диким голосом закричать, расталкивая мать и сестру, как зрительный зал уже доволен; удоволь-

ствие его – настоящее, аплодисменты бурные, и после спуска занавеса видишь среди публики лица задумчивые, напряженные, полные тем, что происходило на сцене.

Словом, между публикой и сценой существует неразрывная, крепкая связь – та связь, которая есть главный секрет всякого театра; та, которая придает новый смысл и значительность незначительному; то, что казалось бесцветным, делается разноцветным. Этим надо дорожить, этого не создать никакими искусственными приемами.

В саду – обыкновенное исполнение в духе «Театра миниатюр» – «Маленькой Клодины» (с французского, с пением).

Потом любимый и известный по миниатюрам певец поет «Эй, вы, залетные»; потом карлики, подражая детям, поют не совсем приличные куплеты в китайских костюмах. Это особенно нравится. На открытой сцене – жонглеры Главная масса глазающих – конечно, как всегда было, бесплатная, то есть заплатившая только за вход в сад.

Вот все, что я видел пока; это – то же, что было прежде.

Со всем этим неразрывно слиты многочислен-
ные легализированные и нелегализиро-
ванные лотки и прилавки, торговля вразнос
шоколадом, семечками, брошюрами, почто-
вой бумагой, визитными карточками. Это —
целый мир, совершенно установившийся; все
это не кажется мне плохим, потому что тут
есть настоящая жизнь.

С этой жизнью необходимо обращаться
крайне бережно, вытравить ее можно одним
росчерком пера, а вернуть будет уже не так
легко. Потому мне представляется, что дея-
тельность по обновлению репертуара таких
театров, как Народный Дом, должна заклю-
чаться в умелом и как бы незаметном вкрап-
ливаньи в обычный и любимый репертуар
того, что желательно носителям идей нового
мира.

Надо ли убирать актеров Театра миниатюр
с легким налетом сальности? Нет, пока реши-
тельно не надо. В публике мы имеем дело с
людьми взрослыми, озлобленными бесконеч-
но суровой жизнью многих лет, ищущими от-
дыха и простого развлечения. Надо, чтобы в
репертуаре было, как и есть, много просто

развлекающего, без всяких «культурно-просветительных» оттенков. В том и трудность и привлекательность задачи, чтобы в бесформенную и рыхлую массу репертуара умелой рукой вкрапить камень-другой новой породы, который бы неожиданно осветил всю массу иначе, придав бы ей немножко другой цвет и вкус.

Я много лет слежу за театрами миниатюр, которые занимают огромное место в жизни города; здесь давно есть свои приемы, свои отношения, свои ранги, свои любимцы, свои звезды и звездочки. Это – тоже целый мир, в котором кипит своя разнообразная жизнь, и здесь – среди жестоких нравов, диких понятий, волчьих отношений – можно встретить иногда такие драгоценные блески дарований, такие искры искусства, за которые иной раз отдашь с радостью длинные «серьезные» вечера, проведенные в образцовых и мертвых театрах столицы.

Тут есть много своего разъевшегося, ожиревшего, потерявшего человеческий образ, но есть и совершенно обратное – острое, стройное, оригинальное, свежее. Только все это –

случайно, не приведено в систему, мелькнет там и здесь, и опять потонет в серой массе, как в самой жизни города: неустроенный организм.

Публика Народного Дома, несмотря на пестроту и разнородность своего состава, также драгоценна, и ею надо дорожить. Можно сколько угодно острить, называя Народный Дом «публичным домом», но это остроумие мертвое, бюрократическое, безответственное. Матрос и проститутка были, есть и будут неразрывной классической парой, вроде Арлекина и Коломбины, пока существуют на свете флот и проституция; и если смотреть на это как на великое зло только, то жизни никогда не поймешь, никогда прямо и честно в ее лицо, всегда полузаплеванное, полупрекрасное – не посмотришь. Мы все отлично, в сущности, знаем, что матрос с проституткой нечто совершенно иное, чем «буржуй» с той же самой проституткой, что в этой комбинации может не быть тени какой бы то ни было грязи; что в ней может быть нечто даже очень высокое, чему не грех бы поучить сонных мужа и жену, дожевывающих свою по-

слеобеденную жвачку в партере образцового театра. Для меня лично всю жизнь зрелище Александрийского, а особенно – Мариинского партера, за немногими исключениями, казалось оскорбительным и отвратительно-грязным, а театр, в котором перемешаны сотни лиц, судьба которых – урывать у жизни свой кусок хлеба, то есть дерзить в жизни, не спать в жизни, проходить в ней своим – моральным или антиморальным путем, – такой театр казался мне всегда праздничным, напряженным, сулящим бесчисленные возможности, способным претворять драматургическую воду в театральное вино, что происходило и в Народном Доме, на представлении невежинской пьесы.

Вывод мой таков: если Невежин влечет публику, но не влечет нас, это не значит, что мы должны изгонять Невежина, а значит, что мы должны постараться дать ему новое окружение.

Если какая-нибудь пьеса не только не влечет нас, но покажется нам совершенно неподходящей, вредной для репертуара коммунальных театров, то надо все-таки очень и очень

подумать о том, вычеркнуть ее или нет; в большинстве случаев, по-моему, надо не вычеркивать ту пьесу, которая нужна почему-нибудь публике, но постараться окружить ее другим, что имело бы силу затушевать ее, свести на нет, чтобы пьеса сама, таким образом, ушла с горизонта театральной публики.

Таково, по моему мнению, требование самой жизни, которая дышит где хочет, и дыхание которой всегда свежо, когда это настоящая жизнь; спугнуть жизнь ничего не стоит, она улетит безвозвратно, оставив нас над разбитым корытом.

Государственные театры, в противоположность народным, утратили давно всякую связь с жизнью. Гений жизни, испуганный чем-то, отлетел от них: если там иногда и возникнет связь сцены со зрительным залом, то это – всегда исключительный случай, обязанный своим возникновением игре какого-нибудь отдельного актера, какой-нибудь исключительной постановке и т. д. Обычная же картина такова: актеры поигрывают, причем во всей их повадке чувствуется, что они не хотят особенно утруждать себя и заняты вообще гораздо более важными делами, чем выступление на сцене. Публика же позевывает и поглядывает, веруя в образцовость исполнения, в то, что если оно не слишком замечательно, то лучшего в столице все-таки не сыщешь.

Во всем этом я убедился окончательно, посещая довольно исправно Александрийский и Михайловский театры в последнее время.

Если уместна печальная ирония по этому поводу, то я сказал бы, что это – факт, развязывающий нам руки; государственные теат-

ры имеют то преимущество перед народными, что там, в сущности, в данный момент нет ничего такого, что надо беречь; ничего такого, из-за чего пришлось бы идти на компромиссы, прибегать к обходным путям.

Там возможна, а по-моему, и необходима, решительная реформа, и момент для нее нельзя найти удобнее, момент такой: в репертуаре наступила полная неразбериха; многие члены труппы на отлете, тех сил, действительно крупных, из-за которых приходилось идти на компромиссы и которые, как все мы знаем, и были отчасти причиной разложения репертуара, больше нет, новые силы еще не образовались, а главное, публика, то есть то, из-за чего и гордится весь огород, просто отсутствует, ибо нельзя серьезно считать публикой теперешних посетителей государственных театров; эти театры и в этом отношении давно опровинциализались, обслуживают небольшую часть жителей своего квартала; ведь мы не хотим считаться с художественными вкусами владельцев банкирских контор и приказчиков из Гостиного двора, которые посещают Александринку; также неин-

интересны нам суждения гувернанток-француженок, шляпных мастериц из Пассажа и дам, любящих французский язык m-me Роджерс, а все это еще недавно и было ядром публики Михайловского театра.

Словом, время для коренной реформы незрело. Мне кажется, у нас сейчас есть и право, и обязанность, и возможность, и долг потребовать от государственных театров служения не одному кварталу провинциального города, а жизни, искусству и обществу. Много лет этот вопрос висел в воздухе, и много лет разрешить его было нельзя по тысяче полуважительных причин. Теперь, по-моему, мы можем и должны немедленно выработать и продиктовать государственным театрам свой репертуар.

Государственные театры имеют неограниченные возможности. В их распоряжении должны находиться все лучшие театральные силы страны. Если они не умеют привлечь этих сил, в этом их вина.

Я сказал бы, что они должны суметь сделать это теперь, а мы не должны при выработке репертуара считаться с их уменьем или

неуменьем сделать это. В государственных театрах все должно быть готово к исполнению лучшего и необходимейшего, что есть в мировом репертуаре. Мы не требуем гениальности, не требуем громадных талантов, но мы требуем возможного: чтобы техника, которая недаром же вырабатывалась десятилетиями, чтоб традиция, которая существует же в государственных театрах, хотя она и завязла в настоящее время на задворках сцены, в паутине отслуживших свое декораций, – чтобы все это пошло в дело.

Итак, репертуар государственных театров должен быть классическим; я думаю, что эту тенденцию надо навязывать, надо проводить упрямо и неуклонно, невзирая ни на какие критики, ни на какие неудачи, которые сразу начнут преследовать на этом пути, – и на это закрывать глаза не нужно.

Я хотел бы, чтобы мы сказали наконец решительно, что мы требуем Шекспира и Гете, Софокла и Мольера, великих слез и великого смеха – не в гомеопатических дозах, а в настоящих; что позорно лишать жителей города, равного по количеству и пестроте населения

большим городам Европы, возможности слушать каждый год десять раз объяснение Ричарда с леди Анной и монологи Гамлета, видеть шествие Бирнамского леса на Донзиган, и т. д., и т. д.

Я бы мог говорить много о том, почему нам суждено до сих пор отдавать большое и, пожалуй, первенствующее место репертуару европейскому; о том, что в этом нет ничего ни неестественного, ни зазорного; но сейчас, мне кажется, говорить об этом у нас нет времени. Я хочу только, чтобы мы пришли к одному выводу, для меня ясному как день: государственные театры обязаны держаться лучшего, что есть в классическом репертуаре. Пусть будет время, когда «Макбет» пройдет перед пустым залом, – это только переходное время, и государственные театры обязаны его выдержать стойко, не идя ни на один компромисс; государство же обязано их в этом поддерживать; этот путь кажется мне путем действительно революционным. Это путь – единственный, других нет. Пусть закроется пока доступ на государственную сцену всему неустановившемуся, всему спорному: необхо-

димо дать время накоплению тех сил, собиранию тех энергий, без которых театр не театр, а лавочка, департамент, ресторан, место отдохновения и развлечения, все, что угодно, только не театр.

Когда та горячая и таинственная волна, которая несет на себе все истинно великое, все омытое и отшлифованное веками, обтечет эти выветрившиеся стены, теперь забывшие лучшее, что в них было; когда солью этой волны пропитается вновь каждый угол сцены и каждый угол зала; когда зритель, приходящий в театр, сразу будет охвачен этим воздухом, которого сейчас в государственных театрах вовсе нет, и сразу станет сам неприметно другим, более подготовленным к поднятию занавеса над сценой действительно образцовой, – тогда только настанет время для нас говорить о новых изменениях репертуара, о внесении в него новых элементов.

Пока этого нет, я полагал бы, что нам следует твердо стоять на позиции классического репертуара, не уступая ее ни нежно стучащимся в эти двери веяниям модернизма, ни смазному сапогу современного бытового и

психологического репертуара.

Пусть совершится тот процесс, о котором я говорил; для этого путь один – последовательный и жесткий.

Надо выдержать трудное время; так сейчас во всех областях жизни – так и в этой. Ждать – не век. Надо только надеяться и любить, и тогда благословение великого снизойдет скорее, чем мы думаем. Когда мы вернем соль тому, что соль потеряло, тогда только мы будем иметь право говорить о дальнейшем и тогда только откроются перспективы, я думаю, совершенно новые, как всегда неожиданные.

Тогда речь пойдет, вероятно, уже не о модернизме, и не о быте, и не о психологии; в этих несчастных трех соснах блуждать мы уже перестанем, а заговорим на новом языке, более отчетливом, которым пока не владеем; не владеем потому, что основное не сделано, самое место, о котором мы печемся, не расчищено, за деревьями не видно леса.

